



АННА
ШЕРМАН

КОЛОКОЛА СТАРОГО ГОРОДА

ГИПНОТИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ПО УЛОЧКАМ
СТАРОГО ТОКИО — ЯПОНИЯ, КАКОЙ ЕЕ НЕ ЗНАЮТ

Анна Шерман
Токио. Колокола старого города

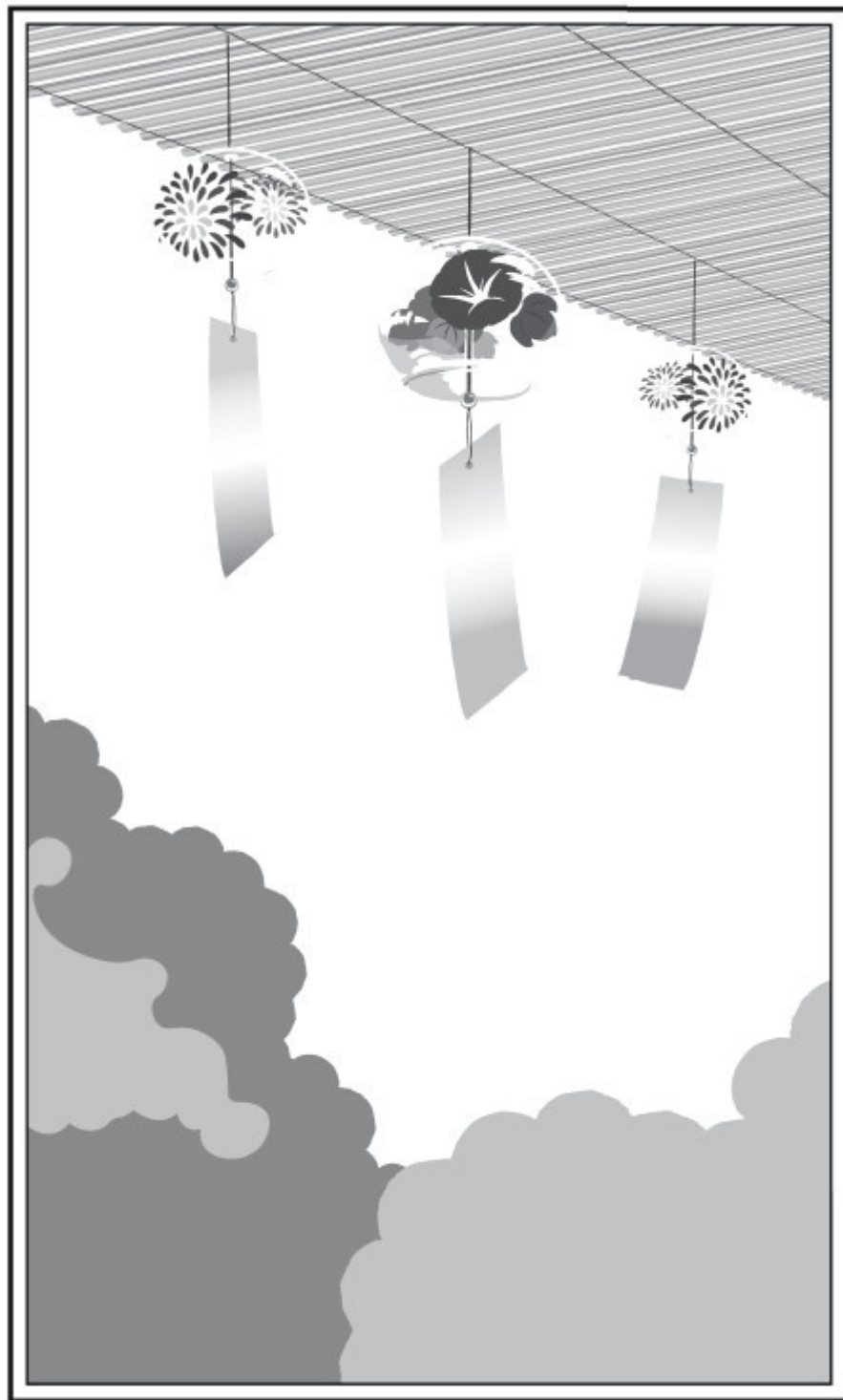
Посвящается Иану

Anna Sherman

BELLS OF OLD TOKYO: MEDITATIONS THE ON TIME AND A CITY

Copyright © Anna Sherman, 2019

First published 2019 by Pan Macmillan, a division of Macmillan
Publishers International Limited



© Лазарева Л., перевод на русский язык, 2020

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство
«Эксмо», 2020

Токио – грандиозный хронометр. В его тихих аллеях и шумных авеню, дремлющих каналах и храмах угадывается циферблат гигантского часового механизма. Его месяцы, недели и часы, минуты и секунды подчинены ритму дорожного движения, которое устремляется в столицу со стороны северных рисовых полей, от разрушенной Фукусимы. Они отмерены домами, ушедшими под нос, и новыми постройками, что выросли на землях, отвоеванных у моря. Время измеряется здесь ароматическими палочками – и светодиодами. И сверхточными атомными часами. Время отсчитывается судьбами тех, кто живет в пределах железнодорожной линии Яманотэ, кольцом охватившей старинный городской центр, и тех, кто населяет равнину Канто, уходящую за пределы этого неровного овала.

Колокола времени

Пять часов вечера. Прозвучали по радио позывные, их звуки долго замирают над парком Сиба. Каждый вечер по всему городу токийские репродукторы передают то, что называется *радио босай* («готовность к стихийному бедствию»). Ровно в 17:00. Это ксилофонный колыбельный мотив – проверка городской радиосети. По всей Японии мелодии исполняются разные, но радиостанции Токио обычно играют детскую песенку «Юяке-Кояке»¹. Слова ее такие:

С заходом солнца день темнеет.
На горе звонит колокол времени.
Взявшись за руки, мы вернемся домой, вместе с птицами.
Дети ушли по домам, и светит полная луна.
Когда засыпают вороны, всё небо в сверкающих звездах.

В этот вечер из репродуктора звучала не «Юяке-Кояке», а что-то другое. Я не узнала песню и ломала голову, что это было, когда, сплетаясь с передачей в записи, отчетливо прозвучал другой звук – колокол Дзодзё-дзи², старинного храма, который находится рядом с Токийской башней.

Единственный удар отозвался целым созвучием, где верхний тон постепенно растворился в глубоком низком. И я направилась на этот звук. Миновав Тройные ворота храма, на открытой каменной башне я увидела гигантский колокол и звонаря в одеянии цвета темного индиго. Он был очень молод. Толстый канат из переплетенных фиолетовых, красных и белых шнуров свисал с горизонтального *сюмоку*, массивного бревна, которым бьют в колокол. Юноша повисал на канате, оттягивая *сюмоку* слегка назад, потом еще

немного, прежде чем ударить им, словно стенобитным тараном, в позеленевший бронзовый бок колокола. Звонарь изо всех сил тянул веревку, откидываясь всем своим весом назад, и валился, валился до тех пор, пока едва не садился на деревянные половицы башни; и тогда сила противодействия начинала тянуть его обратно, вперед и вверх. Движение походило на запись, прокрученную задом наперед: падение чудесным образом преображалось в собственную противоположность.

Япония – страна колоколов. В детстве мне подарили японскую музыкальную подвеску, хрупкую безделушку в виде миниатюрной пагоды. Пять свесов трехъярусной крыши, каждый увешан крошечными колокольчиками, и пять висячих полых цилиндров, которые звенели, ударяясь друг о друга. Все части игрушки скреплялись леской. И оттого, наверное, что леска была прозрачной, вся эта «музыка ветра» звенела так, словно подвеска вот-вот улетит.

Никто не удосужился ее повесить. Леска, в конце концов, перепуталась, так что развязать затянутые узелки стало невозможно. Музыка кончилась.

Но этот перезвон – мое первое впечатление от Востока: сверкающий металл, переливы звуков, порывы ночного ветра...

Ударив в колокол последний раз, звонарь отцепил разноцветный канат, перекинул его через плечо и долго спускался по длинной лестнице, пока не исчез в главном зале храма Дзодзё-дзи.

Небольшая металлическая табличка на башне гласила: «Сибакиридоси». Один из колоколов времени в Эдо».

Прежде чем Токио получил свое нынешнее имя, он назывался Эдо. С начала XVII столетия Эдо *de facto* являлся политическим центром Японии, хотя Киото оставался столицей государства до 1868 года, став ею еще в 794-м. н В начале XVII века только три колокола отзванивали время по часам. Один колокол находился в Нихонбаси, внутри тюрьмы, расположенной в самом сердце города; другой

располагался неподалеку от северо-восточного храма Богини Милосердия. Третий колокол был в Уэно, возле северных городских Врат демона. По мере того как Эдо разрастался – к 1720 году в городе проживало свыше миллиона человек, – сёгуны из рода Токугава разрешили иметь больше колоколов, отбивающих время: в Сибэ, у Токийского залива. Восточнее реки Сумида, в Хондзё. В западном предместье Ёцуя, при Храме Небесного дракона. В юго-западной части центра, на холмах Акасака, где сейчас находится главное здание токийской теле- и радиосети. Западнее, в районе Итигая, возле Министерства обороны. И далеко на северо-западе, в Медзиро, где в 1657 году в городе впервые случился страшный пожар. Обычно колокола звонили каждый час, чтобы город сёгуна знал, когда вставать, когда ложиться, когда работать, а когда садиться за стол.

Около металлической таблички карта с границами слышимости каждого колокола – рисунок из кругов, перекрывающих друг друга, словно следы от дождевых капель на поверхности тихого пруда. Дождевые капли, замерзшие в тот самый момент, когда они коснулись воды.

Незадолго до смерти, в том же 2003 году, когда его не стало, композитор Ёсимура Хироси написал книгу под названием *«Колокола времени Эдо»*.

Когда-то Ёсимура работал саунд-дизайнером. Он умел создать целую вселенную из обрывков мелодий, нескольких поэтических строк, названий холма, колодца или реки³. В своей последней книге Ёсимура описал Токио таким, каким его мог знать только слепец: звук шагов рабочих, идущих домой через парк Уэно; звяканье монет, падающих в ящики для пожертвований возле святилищ и храмов; возгласы, подгоняющие неловкого звонаря – *joya no kane*, когда колокол ровно в полночь отбивает наступление Нового года. Сто

восемь ударов колокола: 108 раз – по числу пагубных мирских страстей.

Город сёгуна почти полностью утрачен, писал Ёсимура. Исчезли не только дома и сады, но и звуковой ландшафт города. В «*Колоколах времени*» Ёсимура медленно идет через весь огромный город и вслушивается в звуки, оставшиеся за пять столетий неизменными. Некоторые слишком неуловимы для Токио XXI века, как звук лотосов, лопающихся на рассвете. Толпы, бывало, каждое лето собирались, чтобы посмотреть и послушать легкий треск раскрывающегося бутона на волнистой глади пруда Синобадзу. Можем ли мы представить, насколько тонкими были чувства людей в то время? Но некоторые звуки Эдо все же сохранились: кричат на рынках торговцы; звеня от ветра, колышутся на тележках подвески из стекла каждый год в июле; и каждый час звонят колокола, сообщающие время.

Ёсимура считал, что в голосе храмового колокола столько же тишины, сколько и звука. Звонивший колокол втягивал в себя всю жизнь в округе.

Сёгуна больше нет, но вы можете услышать то же, что и он, писал Ёсимура. Нота раскрывается вовне. Звук заключает в себе движение сквозь время.

Я пройду путем Ёсимур и поищу, что осталось от исчезнувшего города. Я не воспользуюсь скоростными эстакадами, не войду в вагон железнодорожной линии Яманотэ, которая с грохотом пронзает городской центр. Мой путь пройдет по тем местам, где различим звон колоколов, – маршрутом в виде рисунка дождевых капель, падающих на водную гладь. Ветром звенящие звуки могло занести далеко к Токийскому заливу, а дожди могли заглушить их так, словно их не было вовсе.

Круг имеет бесконечное количество начал⁴. Направление, которое я выберу, может меняться, как могут смениться кружочки на карте.

Да, границы существовали, но они не прочерчены раз и навсегда.



Дайбо Кацудзи знаменит, хотя многие годы я даже не представляла насколько, – своим кофе, а главное – тем, как он его наливает. На кофе тончайшего помола он выпускал сначала одну каплю горячей воды. Потом две, три, после чего лил воду капля за каплей тонкой, похожей на блестящую цепочку, струйкой.

Черные волосы Дайбо стрижет, как монах. Каждый день он надевает ослепительно-белую рубашку, черные брюки и черный фартук: униформа никогда не менялась и напоминает одеяние аскета. Прекрасные темные глаза и темно-синее пятно на нижней губе, похоже, родимое. Он невелик ростом, но только не тогда, когда стоит за стойкой.

Ни один посетитель не забредает в кофейню Дайбо случайно. Нужно знать ее, чтобы забраться по ступенькам узкой лестницы. Помещение маленькое – всего-то на двадцать мест. Такие узенькие прямоугольники японцы называют «гнездом угря».

Токио – беспокойный город, где все бурлит и меняется, но к кофейне «Дайбо» это не относится. Она та же, что всегда.

Кафе маленькое, на первом этаже, над подвальчиком, где раньше продавалась лапша рамэн. Позже прилавок с лапшой сменился шкафчиками для забытого багажа. А еще до лапши там был бутик. Выше этажом над кафе продавались мечи. На самом верхнем этаже кто-то вроде торговал нэцке, крошечными фигурками людей, зверей, вымышленных персонажей, вырезанными из кости или из дерева. Потом все лавочки закрылись, их владельцы ушли на покой – все, кроме Дайбо. Он никогда не покидает своего кафе, за исключением

трех дней в августе каждого года, когда ездит на север, в горы Китаками в префектуре Ивате, откуда он родом.

От стены до стены через весь зал тянется прилавок из грубой сосны, которую Дайбо когда-то раздобыл на дровяном складе. Там, по его словам, она просто валялась.

Каждое утро Дайбо жарит кофейные зерна. Он открывает окна, и аромат струится до Аояма-дори, а то и перекрестка Омотэсандо. Летом и зимой, весной и осенью.

Зерна трещат, как детская игрушка рейнмейкер или как лотерейные шары. Поверх этих звуков плывут мелодии джаза – те, что любит Дайбо. Джазовый мотив тонет в уличном шуме, его перекрывают сигналы машин, звуки сирены, дождя или громкий стрекот цикад... Потом музыка пробивается вновь, как будто и не смолкала.

Дайбо крутит килограммовый контейнер поджаренных зерен, держа в другой руке книгу. Потемневшей бамбуковой ложечкой он проверяет качество помола. Потом раскрывает книгу и садится читать.

«Хибия»

日比谷

В Хибии находятся реликвии всех эпох Токио. Считается, что деревья в парке – самые старые в городе; здесь есть фрагмент каменной стены, окружавшей замок, эстрада для оркестра, существующая со времени основания парка, фонтан из бронзы...⁶

Эдвард Сайденстикер

Хибия

Ночь и город вползали в комнату.

Северное крыло гостиницы выходило на офисное здание Отемати. Напротив моего окна – сплошная стена от асфальта до неба; за ней – одна стеклянная стена за другой, и каждая вертикальная плоскость разбита квадратами или прямоугольниками панелей. В каждой такой рамке – по человеческой фигуре, в некоторых по две – по три. Там, где окна пусты, их свечение казалось неусыпным. В зданиях, что громоздились напротив отеля, наверняка стояли телевизоры. Вместо того чтобы разглядывать маленькие кинодрамы, они, наверное, наблюдали за мной, когда я смотрела из окна, придерживая рукой штору.

Я переехала в другое крыло. Новая комната выходила окнами на парк Хибия и воды Вадакура-бори, одного из каналов, что окружают

Императорский дворец, часть лабиринта рвов вокруг старинной цитадели. Вместо десяти тысяч окон – громады камней без раствора, обтесанных для постройки старой крепости.

Город исчез.

Я оказалась почти в центре спирали каналов вокруг дворца, но не могла его видеть.

– Так ты интересуешься временем, – сказал Артур.

Мы сидели у длинной стойки Дайбо в его кафе и пили кофе с молоком из чайных чашек. Артур – американский переводчик, писавший книги на японском.

– Так вот, для обозначения общего представления о пространстве и времени используется слово *kan*.

Я насупившись полистала словарь:

– А как же *jikū*?

Артур улыбнулся:

– Это формальный термин. Берем формальное слово, рассекаем его на части и растаскиваем их в разные стороны. Если придумать что-нибудь реально хорошее и подобрать к нему подходящее слово, то это победа.

Если в английском для «времени» одно слово – *time*, у японцев их несметное количество. Некоторые обращаются к прошлому, к древней литературе Китая – *uto*, *seisō*, *kōin*. Из санскрита японский язык воспринял выражение «нескончаемости»: это такое слово, за которым зоны, простирающиеся за пределы нашего воображения, в бесконечность: *kō*. Из санскрита взято и слово, соответствующее мельчайшей единице времени, – *сецуна*, «бесконечно малая частица мгновения»⁷. Из английского языка японцы позаимствовали *ta-imu*. *Ta-imu* – употребляется для отсчета и фиксации времени. Это термин секундомеров, гонок и состязаний.

– На Западе, – рассуждает Артур, – мы рассматриваем время как поступательное движение, как нечто абстрактное, движущееся к какой-то цели, которую мы не знаем и не видим. Но ты не забывай,

что японское время передается животными зодиака⁸. Японцы всегда рассматривали время как *живое существо*.

– Что за история?

– Никогда не слышала о восточном календаре? Притча такова: «Однажды давным-давно Будда созвал всех животных, прежде чем он покинет землю и уйдет в нирвану. Но лишь двенадцать животных потрудились явиться – мышь, дракон, обезьяна, бык, змея, петух, тигр, лошадь, собака, кролик, овца и свинья. Желая их отблагодарить, Будда разбил время на периоды, состоящие из двенадцати лет. Он сделал каждое животное хранителем одного года в цикле».

Здесьние люди все еще чувствуют свою связь с зодиаком. Год, в который ты родился, говорит о том, кто ты. Я родился в 1967-м – это год Овцы.

Артур сказал что-то, чего я не поняла, Дайбо, стоявшему за прилавком. Дайбо засмеялся.

– Зодиакальные часы отвечают на такие вопросы, как: почему там нет кошки? (Мышь не разбудила кошку, поэтому кошке не удалось повидать Будду. Вот почему кошка и мышка стали врагами.) А почему мышь оказалась впереди всех? (Она спряталась на бычьем копыте и успела спрыгнуть раньше, чем бык приветствовал Будду.) У каждого животного – своя индивидуальность и своя реальность, сопутствующая ему. Не забывай, что для населения Старой Японии мышь была существом кухонным, а не картинкой из книжки. В старинных японских часах каждая цифра также ассоциировалась со своим животным. Каждый ведь знает, когда начинается время призраков: *И то был час Коровы*⁹.

– Час Коровы?

– Да, то есть три часа ночи. Самая глубокая ночь. Когда выходили призраки.

Артур допил кофе. Затем он пошел к выходу, чуть-чуть задержался возле телефона-автомата и поклонился Дайбо. Когда дверь за ним

закрылась, я еще видела сквозь стекло, как он накиннул рюкзак на плечи и сбежал по узким ступеням.

Он опаздывал.



Дайбо начал меня узнавать. Через несколько месяцев, что я пожила в Японии, мы наконец смогли с ним изъясняться. Я зачитывала ему вслух диалоги прямо из разговорника Берлица. Если попадалось незнакомое слово, я показывала жестами, что хочу сказать.

Между фразами всегда были долгие паузы, пока я перелистывала свой разговорник. Некоторые длились почти минуту, и все это время Дайбо ждал за своим прилавком, неспешный и терпеливый.

Дайбо нравилась медленность. Однажды он написал, что хочет, чтобы посетители засыпали, пока он готовит им кофе. Он родился в префектуре Ивате, на дальнем севере Хонсю, в «снежной стране». Хотя он не уроженец Токио, именно Токио сделал его таким, каким он стал, уверял Дайбо.

Английский поэт Джеймс Киркап, живший в Токио во время Олимпийских игр 1964 года, писал, что здешние кофейные бары вошли в «жизнь токийских студентов, которые там занимались, писали письма, назначали свидания, звонили по телефону и даже спали». Кофейни были чем-то вроде лондонских клубов эпохи Сэмюэла Джонсона в XVIII веке¹⁰. Следовало только опасаться «шарлатанов, как японских, так и западных», со знанием дела

строчивших поэмы или «планировавших дерзкие выставки». Всё это стоило очень дорого, если за дело брались поэты.

Дайбо достиг совершеннолетия в эпоху джаз-кафе 1960-х, когда кофейни со своим приглушенным полумраком стали походить на святилища. Но хотя кофейню Дайбо отличали тишина и аскетическая простота дзен-буддийского храма, там царила атмосфера великодушия и всепрощения. В Дайбо не было ни капли осуждающей суровости мастера кофе знаменитого *Café l'Ambre* из квартала Гиндза. Тот, говорят, выпроваживал всякого, кто посмел попросить молока или сахара для «священного напитка», не предупредив заранее¹¹.

Кофейные бары, как пишет Киркап, оказались в числе немногих демократических учреждений Японии, так как были открыты для всех. В кофейне Дайбо известный художник мог оказаться рядом со школьницей, прогуливавшей уроки, дирижер Озава Сэйдзи – рядом с исполнителем фламенко; работник рекламного агентства – с продавцом с блошиного рынка. И Дайбо всех обслуживал одинаково.

Дайбо уверял, что посетителю уже пришлось немало потрудиться, прежде чем он нашел его кафе. А большой бульвар Аояма-дори довольно хаотичен. Так пусть кто хочет взбирается по узким ступенькам, сидит и обтирает металлические поручни целыми неделями – да хоть всю жизнь!

Если оставить их в покое и правильно готовить для них кофе, говорил Дайбо, то потихоньку-полегоньку люди возвратятся к своему истинному «я».

«Нихонбаси»

日本橋

В период Токугава Нихонбаси был отправной «нулевой точкой», откуда отмерялись все расстояния в стране, и именно по мосту Нихонбаси проходили все официальные процессии, как направлявшиеся ко двору сёгуна, так и покидавшие его¹².

Теодор Бестор

Нихонбаси: Нулевая точка

Свыше двух столетий первый колокол времени отзванивал часы во дворе тюрьмы сёгунов Токугава.

Часы и тюрьма представляли единое целое.

– Место казни было вон там, – поведал смотритель. На нем розовая футболка под линиялым черным комбинезоном. – Тюрьма доходила до самой школы, – показал он пальцем. На нем солнцезащитные очки-авиаторы; уложенные гелем волосы лежат «шипами», как у звезд японской поп-музыки.

Тюрьма Кодэматё обрела второе рождение как детский парк; под камнями, перемолотыми в серую с металлическим блеском крошку и серебристый песок, почвы не видно. Земля здесь настолько продезинфицирована и вычищена, что кажется, ее обработали щелочью или кипятком. Все выглядит монохромным, сизоватым –

кроме ступенек на детскую горку. Они выкрашены в кричащий красный цвет.

Сам колокол остался на месте. Он висит на верхнем ярусе башни бледно-желтого кирпича, построенной в имперском коронном стиле 1930-х. Бронзовый колокол далек и недосыгаем. Вокруг его короны обвился дракон.

В парке пахло нагретым асфальтом, пылью, дождем. Несколько офисных служащих курили, сбившись в кучку под строительными ограждениями неподалеку от школьной ограды. У подножия колокольной башни спал бездомный. Я взглянула в его сторону. Он перевернулся во сне и, как ребенок, подтянул колени к подбородку. Рядом, на клумбе, выложенной обыкновенными булыжниками, росли две сосны и кусты юкки садовой. Дальше торчали грубые камни с вырезанными на них иероглифами и обелиск, огороженный металлическими цепями.

– Что там написано?

– Понятия не имею, – ответил смотритель. – Никогда не интересовался.

Он отвернулся и пошел по дорожке, сметая граблями окурки сигарет, сухие листья и прочий мусор. Прутья его метлы оставляли на светлом песке ровные завитки: круг, «ноль», только задом наперед. Завитушки окружали смотрителя со всех сторон, как *энсо*, образ круга в Дзен¹³, как те «почти завершенные» круги, которые воплощают пустоту всех вещей.

Служащий в рубашке и брюках без пиджака подошел к павильону и, обращаясь к спящему, тихим голосом произнес несколько слов. Тот не спешил просыпаться.

На детской площадке за лесенкой стояли три потрепанных зверя на пружинах: панда, коала и красное существо, которое становилось незаметным, если смотреть на него спереди.

Когда я оглянулась на колокол, бездомный уже отошел от башни и привязывал свои пожитки к деревянной тачке, которую накрыл

куском светло-синей ткани. Затем навалился всем телом на ручку и повлек поклажу в сторону Даи-Анракудзи. Этот «храм спокойствия» был основан в 1870-х «для упокоения душ» тех, кто расстался с жизнью в Кодэматё. С 1610-х, когда тюрьма была только построена, до закрытия в 1875-м их набралось десятки тысяч.

Служащий отбросил сигарету и затоптал её. Прислонился к одному из столбов колокольни и закрыл глаза.

Городская тюрьма в Кодэматё была старше сёгуната Токугава и пережила его¹⁴. Больше двух столетий она принимала карманников и поджигателей, убийц и хулиганов, картежников и вероотступников. Решения суда не подлежали обжалованию, смертные приговоры приводились в исполнение немедленно¹⁵. Один из заключенных, описывая тюремную атмосферу, писал, что она «напоминала Период сражающихся царств, когда доведенные до отчаяния люди поддерживали друг друга и учились смеяться в лицо неотвратимой судьбе»¹⁶.

В Эдо были еще два места для публичных казней, у северного и южного выездов из города¹⁷. По мере того как он рос, места казней перемещались все дальше от центра. Их каждый раз переносили за пределы города: от Сибагути до Синагава и до Судзугамори на юге; на севере от Асакусабаси до Коцукаппара на восточном берегу реки Сумида. Только огороженный участок Кодэматё оставался на прежнем месте внутри города. За пределами его Больших Ворот преступников подвергали телесным наказаниям; внутри осужденных татуировали, и здесь же они дожидались решения суда. То могла быть ссылка в исправительные колонии на островах, на юг или на запад; либо же смерть.

Публичное наказание в Японии эпохи Токугава, как пишет Дэниел Ботсман в своей книге, было популярным драматическим жанром. «Важнее было создание спектакля, наводящего ужас, а не [причинение] боли отдельно взятому преступнику»¹⁸. Сёгунат тем не

менее тщательно заботился, чтобы открытые публичные казни совершались только в случаях самых тяжких преступлений. В противном случае толпа проникается сочувствием к осужденному и может взбунтоваться.

В 1876 году, через восемь лет после того, как последний сёгун Токугава покинул город, тюрьма была перенесена на запад, в Итигаю. Но и после того как она прекратила существование, район Кодэматё слыл нечистым. Сама почва в этом месте считалась зараженной *kegare*, духовной скверной, источником которой были кровь и преступления¹⁹.

Писательница Хасэгава Сигурэ росла неподалеку от района Кодэматё, где привычными были звуки кузниц, запахи жареных морских моллюсков и масла камелии с маслобоек²⁰. В своих мемуарах она писала, что тюрьма считалась грязной, но ей это казалось несправедливым, ведь «там ни в чем не повинные люди были заперты наряду с виновными». Когда в 1875 году тюрьма была закрыта, а здания снесены, отцу Хасэгавы была предложена часть квартала, на землях которого они стояли, однако он наотрез отказался: *Категорически нет. Я да кара, па*. Он не был слабым человеком, писала Хасэгава. Как самурай, он носил длинный меч и охранял Замок Эдо еще несколько месяцев после того, как его покинул сёгун, а новая столица императора считалась едва ли не противозаконной. Но никакие выгоды не заставили его преодолеть отвращение к этому месту.

Мать Хасэгавы уговаривала его пересмотреть решение – ведь с этими землями мы станем богаты! – Но он оставался непреклонным: «Я слышал крики людей, которых здесь пытали. Их пытали без всякой вины. А люди, которых ждала казнь! Одного, я видел, волокли к месту казни за волосы. И он продолжал вырываться. Даже когда ему отрубили голову, руки оставались связанными за спиной, а тело продолжало дергаться. – Мне не нужно ни клочка этой земли».

– Вы пришли, потому что вы христианка? – спросил Накаяма, здешний священник. – Я всегда отличаю христиан, впервые

пришедших сюда. Они приносят белые лилии в честь иезуита, которого пытали и казнили в этой тюрьме.

– Я ищу колокола времени.

– Вот как? – Священник оглянулся на башню с колоколом. – Он был в замке Эдо. Но его перенесли в тюрьму, так как звон раздражал сёгуна. Теперь мы звоним в этот колокол накануне Нового года. У него не самый лучший тон. Хотя чем чаще звонишь в колокол, тем лучше он звучит.

Священнику – Накаяма Хироюки – около восьмидесяти лет. В Даи-Анракудзи он живет с тех пор, как ему минуло четырнадцать. Его семья переехала тогда из Киото.

Внутренний двор храма Даи-Анракудзи – водоем, заполняемый приливом; в нем множество предметов, принесенных из других храмов, других мест и других эпох.

Отполированная каменная глыба считалась священной у айнов, коренного населения Японии. Внутри находятся окаменелые останки змеи. Приходящие в храм больные проводят ладонями по ромбовидной голове змеи и по ее чешуе, молясь об исцелении. Окаменелость извилистой формы похожа на плеть. Или же на букву какого-то неизвестного алфавита.

Деревянное изваяние богини литературы и музыки, восьмирукой Бэндзайтэн. У нее эмалевые глаза и лицо, потемневшее от дыма; в конце XIX века ее привезли в Даи-Анракудзи во время реставрации Мэйдзи, когда по всей Японии буддийские храмы подвергались разорению и уничтожались.

– Этой Бэндзайтэн тысяча лет. Она была изготовлена для воинственной жены сёгуна. – Накаяма улыбнулся. – Четыре руки богини недавно отреставрированы, это обошлось в двенадцать миллионов иен за каждую! А когда мастера приступили к работе, голова статуи качнулась. Резчик ее снял и нашел миниатюрную копию «Сутры золотистого света». Когда свиток развернули, он оказался 25-метровой длины. И еще девять сутр обнаружилось

внутри Бэндзайтэн. Накаяма поднял большой палец: «Вот такой свиток».

Священная сутра золотистого света названа так по Десятой главе, в которой бодхисатва мечтает о золотом барабане, который «освещает небо подобно диску солнца»²¹. Святой человек появляется, чтобы ударить в барабан, который призывает всех, кто его слышит, покаяться. Правитель, который сделал бы копию этой сутры, мог быть уверен, что он будет процветать, его царство станет богатым и мирным; что не будет ни болезней, ни бедствий в его царствование. В средневековой Японии копии сутры Золотистого света хранились в тайниках под потолком для защиты дома от молнии или иных бедствий.

Изображение Бэндзайтэн имело собственное небольшое, красное с золотом святилище совсем неподалеку от храма Даи-Анракудзи, напротив места, где казнили осужденных. Оно имело форму лунных ворот; такое святилище – только портал, самого здания как такового нет. Внутри, в темноте, мигали электрические свечи, освещая золотой лист на тувельке богини, её усыпанные блестками одеяния, глаза дракона на ее нагруднике, плод в одной из ее восьми рук. Глаза богини сияют, отражая весь свет, что вокруг нее.

– Цвет почвы рядом с колодцем был другим, – заметил Накаяма. – Темнее. В этом месте палачи обмывали отрубленные головы, прежде чем вывесить их на пиках у южных и северных ворот города. Колодец использовался до 1964 года.

Накаяма сам наблюдал, как наглухо перекрывали воды источника и камни над ними.

Мы сидели на полу в одной из задних комнат храма и пили чай из Киото. Накаяма предлагал приготовить кофе, однако чтобы «обжарить зерно, понадобился бы час времени». Он очень сожалел.

Комната была пуста, если не считать низкого, красного, лакированного столика, свитка и доски для игры го из светлого дерева. Бумажные экраны рассеивали свет.

– В 1875 году один священнослужитель проезжал мимо старой тюрьмы Токугавы в Кодэматё. Заключение к тому времени только что перевели в Ёцую, а старое здание стало использоваться как продовольственный склад.

На том самом месте, где осужденным рубили головы, священнослужитель увидел воспаряющий фосфор.

– Фосфор? – переспросила я.

– Существует поверье, что фосфор воспаряет там, где есть души умерших.

Накаяма спокоен, словно изображение Кобо Дайси в главном зале. Это тот самый монах, что основал буддистскую секту Сингон. Кажется, Накаяма не испытывает никаких затруднений, сидя в положении *сэйдза*, поджав под себя ноги. Я тем временем стараюсь не ерзать, но получается плохо: колени онемели, голени и щиколотки нестерпимо болят. Ведь мы сидим уже свыше двух часов.

– А не был кто-нибудь из семьи этого священнослужителя заключен в Кодэматё? Его ничего не связывало с этим местом?

– Он был просто священником – из храма, расположенного близ Адзабу и Роппонги. Он случайно проходил мимо и заметил странное свечение, о котором я вам рассказывал. Нет, у него не было родных среди тех, кого казнили.

Я спросила у Накаямы, не думает ли он, что увиденное священнослужителем было отражением его шока – оттого, что старый порядок после 250 лет поменялся; или кто-то вдруг заговорил о том, что происходило в стенах тюрьмы.

Накаяма помедлил.

– Знаете, сейчас люди даже не понимают, что значит «горение фосфора». Видеть это – особый дар, как и умение читать по ладони. Хотя многие понимают, что означают линии на руке, очень, очень немногие еще умеют их читать. Сто пятьдесят лет тому назад, в последние годы перед появлением электрических лампочек, Токио ночами погружался в черноту. Это в XXI веке – яркий свет автомобильных фар, уличное освещение, светодиодные экраны,

неоновые вывески, галогенные лампы. Начни фосфор от асфальта подниматься – никто и не заметит.

Так вот, священнослужитель направился к ближайшему ресторану и обратился к двоим мужчинам с просьбой о пожертвовании на строительство храма. – Накаяма улыбнулся. – Один был Окура Кихатино. Другой – Ясуда Дзэндзиро.

Окура и Ясуда создали бизнес-империи, которые оказались среди первых японских *дзайбацу*, влиятельных конгломератов фирм, лидеров японской промышленности перед Второй мировой войной. Основатель храма Даи-Анракудзи был необычайно удачлив или очень практичен, а может быть, и то, и другое.

– Так вы считаете, что первый священник этого храма на самом деле что-то видел?

Накаяма поиграл четками, обернутыми вокруг запястья:

– Меня там не было. Ничего не могу сказать.

– Школа напротив скоро закроется, – сообщил Накаяма. – В районе не хватает детей, чтобы заполнить классы. На этом месте построят дом престарелых.

В ходе реновации бригада строителей обнаружила фундамент старой тюрьмы. Накаяма хотел, чтобы эти камни были занесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

– Там можно увидеть, откуда арестанты получали питьевую воду и как тесно им было спать. Можно увидеть кухню, где готовилась еда, и место, где они мылись, – когда им давали такую возможность. Осужденных на смерть казнили всегда в одном и том же месте. Оно не менялось. Я бы хотел, чтобы связь времен – между тем и этим веком – была сохранена.

Когда руины оказались на поверхности, строительная компания стала настаивать, чтобы всемерно ускорить возведение дома престарелых.

– Я обратился в столичный муниципалитет с просьбой, чтобы тюрьму сохранили. Но там сказали, что сохранить оставшееся не в их власти, этот вопрос в ведении администрации района. Прибыли

археологи для изучения развалин. За сохранение остатков тюрьмы выступили два нобелевских лауреата, но когда администрация района провела голосование, результат был 40:1 в пользу дома престарелых.

Единственный голос «против» подал сам Накаяма.

– Ваши шансы были ужасно низкими! – посочувствовала я, припоминая, как по-японски сказать *сокрушительное поражение*. Существует много слов, означающих *проигрыш*, наверное, не меньше, чем слов, обозначающих время. То, как вы проигрываете, и сколько раз, имеет значение.

– Да, – ответил Накаяма. – А ведь взглянув на эти развалины, вы с первого раза могли понять, как жили тогда люди!

– Да, их очень жаль.

– Я направил петицию в администрацию района, и там решили сохранить каменные стены. Их можно будет увидеть и рассмотреть сквозь стеклянный пол.

– Как вы добились, чтобы они пошли на это? – спросила я, помня о соотношении 40:1 не в пользу Накаямы.

Он довольно улыбнулся.

– Дело в том, что глава администрации хотел – сильно хотел – уйти в отставку в определенном звании, с определенными почестями. Но если бы против него была бы хотя бы *одна жалоба*, он всего этого никогда бы не получил.

– Всего одна жалоба? – переспросила я, опершись на лакированный столик.

Накаяма кивнул.

Я перевела взгляд в угол, на доску для игры *го*. Подумалось, что это самый красивый предмет из всего виденного мной в Японии, да и где-либо еще. Стратегическая игра, в которой игрок пытается окружить камни противника своими.

– Не хотелось бы мне играть против вас, – заметила я.

– Эта доска слишком хороша, чтобы ею пользоваться, – пожал плечами Накаяма. Он продолжал улыбаться. – Мне было почти жаль

главу администрации района.

– За этой доской лучше мечтать.

– Обидно, что мы не сумели сохранить старую тюрьму. Можно было бы увидеть, какой она была в самом начале 1600-х. Она двенадцать раз горела, и после каждого пожара ее перестраивали, с самого начала – по карте.

Пожары... Я представила тюремщиков, стены, металлические замки.

– А те, кто был там заперт, они как?

Накаяма перестал улыбаться.

– Когда город горел, надзиратели открывали двери и всех выпускали. Когда пожар тушили, у заключенных было трое суток, чтобы вернуться обратно в тюрьму.

Я подняла брови.

– Да-да, они возвращались. Все всегда возвращались²². Если сам не вернешься... тебя найдут. И убьют. Лучше было вернуться в тюрьму самому.

Драматург кабуки XIX века, Мокуами, вырос в Нихонбаси, всего в десяти минутах ходьбы от Кодэматё. В его поздней пьесе о самурае, схваченном в момент кражи из сокровищницы сёгуна («*Четыре тысячи золотых монет, как листья сливы*»), Мокуами приводит зрителя в стены старой тюрьмы²³. Писатель расспрашивал людей, которые там бывали, надзирателей и осужденных. Он описал тайный язык обитателей тюрьмы, их повседневный быт, иерархию и кодекс чести. Вереница тюремных сцен в пьесе открывается эпизодом с бедным провинциальным актером, которого заставляют исполнить «голый танец», да так, чтобы окружающие забыли про чувство голода. Дополнительную жестокость сцене придает то, что этот персонаж у Мокуами танцует под ритмичные крики торговца сладостями за стенами тюрьмы (Кодэматё славился своими кондитерскими). «Всё лучшее для вас! Всё лучшее для вас!» – с плачем повторяет за ним пляшущий актер.

В течение двух с половиной столетий тюрьма оставалась местом ужаса и тайн. Мокуами показывает новичков, попавших в западное крыло, пользовавшееся самой дурной репутацией. Им приходилось проползать через дверные проемы, а потом между вытянутыми ногами сокамерников, чтобы уяснили: каков бы ни был их статус на воле, теперь они ничто. Мокуами изображает пахана в камере, наблюдающего за арестантами с высоты башни из положенных один на другой матов «татами», отнятых у самых слабых и незащищенных. Этим затолкали скопом в угол, называемый «дальней дорогой». Драматург повествует о болезнях и голоде, о красивых молодых парнях, ищущих защиты у более сильных, о старых дрязгах, улаживаемых в драках, о вновь прибывших, наказанных за то, что не сумели достать денег, чтобы откупиться от тюремного насилия. «Твоя судьба в аду зависит от *наличных денег*, которые у тебя есть», – пишет Мокуами, и это одна из самых цитируемых фраз в пьесе. «Это ад номер один. Второго такого нет».

Кодэмматё в изображении Мокуами – кривое зеркало города, лежащего по ту сторону тюремных рвов, со своими ритуалами, иерархией, правилами²⁴. Сидельцы подразделялись по классу и статусу. Самураи, чей ранг давал им право на аудиенцию с сёгуном, занимали особые помещения на первом этаже. Буддийские монахи, синтоистские священники, а также женщины помещались в верхних комнатах. Внизу, на «дальней дороге», обитали рядовые заключенные, не имевшие денег и вынужденные делить на шестерых или семерых единственный мат «татами», часто оставаясь совсем без пищи²⁵.

В пьесе Мокуами «*Четыре тысячи золотых монет*» грабителем сокровищницы восхищаются, высоко ценя его отвагу и неукротимый дух. Пахан в тюрьме предлагает ему красивое кимоно и пояс, чтобы одеться перед казнью. «Ты должен умереть в прекрасной одежде, – говорит главарь. – Ты заслужил все это – благодаря яркости твоего преступления».

– Тут очень тихо, – говорит Накаяма. – Живя здесь, мы не ощущаем, что находимся в самом центре города.

Я прошла за ним следом по коридору, где тени окутывали свет и звук, а потолок вздымался так высоко, что упирался, похоже, в самое небо, хотя наверху наверняка всегда царила ночь, настолько потемнело там дерево. Коридор огибал углом небольшой сад камней – горки с деревцами сасанквы вокруг пруда с карпами, которые скользили и плескались в воде. Все это больше походило на Киото, чем на Токио.

– Прежде чем войти в святилище, вам нужно очиститься, – сказал Накаяма. Он открыл небольшую круглую лакированную коробочку и достал из нее щепотку благовоний, растер пальцами, жестом приглашая меня сложить и потереть ладони.

– А это, пожалуйста, съешьте, – протянул он баночку с гвоздикой.

Я взяла крошечный стебелек и пожевала. Удивительно, насколько легко удалось проглотить гвоздичку и какой сладкой горечью наполнился рот.

Мы вступили в зал буддийского храма, который вряд ли был красив, однако нес печать достоинства своего времени. Золотые листья на потолочных балках более чем за век потемнели от дыма. Накаяма включил мощную светодиодную подсветку, и ее направленный свет заиграл на священном изображении в центре зала – статуе Кобо Дайси, на лице которого испарения ладана за тысячу лет оставили матовый цвет мокрой древесной коры.

– Во время землетрясения 1923 года местные жители погрузили скульптуру на платформу и дотащили до токийского вокзала.

Представить только: толпы кричащих, толкающихся людей, а верующие грузят тяжелую деревянную фигуру на платформу и, выбиваясь из сил среди дыма пожарищ, тянут ее мимо брошенных машин и телег, огибая образовавшиеся на дорогах провалы.

– А это *нэндзю*, молитвенные четки. Как думаете, сколько им лет?

Накаяма протянул янтарные бусы, я покачала их на руке. Всегда считала, что четки делают из дерева, но эти были слишком легкими,

даже для пробкового дерева, и внутри каждой блестящей сферы едва виднелись белые черточки. Я смотрела на белые шелковые кисточки, приобретшие сероватый оттенок.

– Эпоха Мэйдзи? Им лет сто двадцать пять?

– Очень хорошо, – ответил Накаяма вежливо. – Однако им *четыреста* лет. Когда-то они были позолоченными. Но время все течет и течет. Оно никогда не останавливается, даже на секунду. Мы иногда оглядываемся назад: «Мне нужно было поступить так, я должен был сделать эдак...» И через эти наши сожаления, эти *размышления* мы и движемся вперед...

Над нашими головами свисал развернутый желтоватый свиток: «*Для спокойствия и утешения тех, кто умер*».

– Именно потому, что наша жизнь длится всего лишь миг, она так много значит, – произнес Накаяма.

Я вышла из храма к яркому солнечному свету Кодэматё, увидев напротив колокол, переживший тюрьму, которую стерли с лица земли. Накаяма поклонился, вновь улыбнулся и пошел обратно в храм. Его шаги были легки.



В 2002 и 2003 годах, когда богемные анклавы Омотэсандо отступили перед натиском застройщиков и модных магазинов, мои любимые кофейни стали закрываться одна за другой – *Café des Flores* на Омотэсандо-дори, *Aux Bacchanales* в квартале Харадзюку. Внезапно, где их никогда не было, возникли четыре кофейни «Старбакс». Оставалась только одна старая кофейня Дайбо – на том же самом месте с 1975 года. Ее обветшалое четырехэтажное здание выстояло среди сверкающих коробок из стекла и бетона. Я

приводила сюда тех, кого любила, или тех, на кого хотела произвести впечатление, пока смотришь, как Дайбо поджаривает в полумраке кофейные зерна; как кофе разливается летом через зазубренные осколки льда, зимой – в фарфоровые чашки.

Когда в кафе было тихо, я практиковалась в японском с Дайбо, который немного говорил по-английски. Я проверяла на нем слова и фразы, но независимо от того, что я говорила, Дайбо про себя посмеивался. Я называла *словарь велосипедом*. Или употребляла выражение *невиданная катастрофа* там, где надо было сказать *небольшая неприятность*. Дайбо любил поправлять меня. «Надо стараться!» – повторял он, убежденный тем не менее, что мой японский всегда будет ужасным. Его жена, иногда работавшая вместе с ним в кафе, беседовала со мной по-английски. Как и Дайбо, она была родом из Снежной страны; они познакомились на студенческой постановке пьес Жана Ануя. Это было в 1960-х, когда в Японии сходили с ума от французской культуры. Ее семья не хотела, чтобы он увез ее в Токио. Тогда Дайбо уговорил ее бабушку научить его делать лапшу «соба» из гречневой муки и понравился ей. А раз бабушка одобрила партию, Дайбо добился разрешения перевезти невесту в большой город.

Лицо у госпожи Дайбо похоже на цветок, ирис.

В отсутствие жены Дайбо обслуживанием занималась красивая, но неприветливая помощница Маруяма, которая принимала заказы и выписывала счета. Если Дайбо куда-нибудь уходил или был занят сортировкой кофейных зерен, кофе готовила Маруяма. С ней я никогда не заговаривала.

Чем дольше я жила в Токио, тем больше кофейня «Дайбо» становилась местом, куда я шла, когда что-то не так.

В этом смысле я была не одна. Однажды в кофейне появилась сумасшедшая японка. Став рядом со мной, она высыпала на прилавок содержимое огромной сумки и принялась рыться в тюбиках губной помады, использованных носовых платках, пакетах

чистых бумажных салфеток, обломках карандашей, обрывках бумаг и щеток для волос.

Маруяма свирепо взглянула на женщину, осквернившую безукоризненно чистый прилавок. Ее лицо выглядело маской театра *но*: «разгневанная красавица». Впрочем, она ничего не сказала, потому что Дайбо ничего не сказал. Он, как всегда, улыбался.

– Что я могу вам предложить? – спросил он.

– Мне капучино. Можете сделать для меня чашку?

– Нет. Я не подаю кофе со вспененным молоком.

– То есть что значит «не подаете»? – выдохнула она, продолжая рыться в своем утиле: косметике, канцтоварах и прочих цацках, которые она запихивала обратно в кожаную сумку. – Как это нет капучино! Во всем мире его подают!

– А мы нет, – мягко ответил Дайбо. – Не желаете чего-нибудь другого?

– Дайте мне кофе с молоком, что ли, – согласилась она.

Дайбо повернулся спиной и снял с полки винтажную чашку Бидзэн. Он мне как-то говорил, что любит простую глазурь и что эта чашка – его любимая, «потому что видно, как ее обжигали. Глина не умеет лгать. Она всегда остается самой собой». О чашках из белого китайского фарфора, которые я всегда выбирала (абсолютно белые, без единого изъяна), он отзывался: «Они красивые, конечно, но никогда не знаешь, что у них под глазурированным покрытием. Я им никогда не доверял».

Дайбо поставил кофе на прилавок. Женщина пила и становилась тише, разумнее, спокойнее.

Настала моя очередь.

Дайбо положил зерна для моего кофе в мятую, старую алюминиевую мерную кружку. Смолот зерна и насыпал молотый кофе в матерчатый фильтр. Он смастерил его сам из небеленого тонкого полотна и толстой проволоки, которую согнул, пользуясь бутылкой от виски. Взял кофейник из нержавеющей стали и принялся лить

горячую воду сверкающей нитью, капля за каплей, на кофе. Он был абсолютно спокоен, двигались только руки...

Дайбо налил в кофе молока, процедив его так, чтобы на поверхности не оставалось никаких пленок. Чашка была белой, как луна.

Выпей! И исцелись.

«Храм Асакусы»

浅草

Сэнсо-дзи олицетворял границу между тем и этим светом, ту, что отделяет смерть от жизни²⁶.

Нам-лин Хур

Асакуса: Легендарная равнина Канто

В баре стеклянные стены. На много этажей ниже протянулись районы Ханакавадо и Каминаримон: бледно-золотистый свет фар, золотые огни уличных фонарей, золотистая подсветка под карнизами храма Сэнсо-дзи, золото на каждом освещенном снизу уровне красно-золотой пятиэтажной пагоды, стоящей рядом с храмом. Пятна золота на Вратах Грома, ведущих к храму. На крыше зала «Сухое пиво» компании «Асахи» красуется «Золотое пламя» Филиппа Старка, которое каждый в Асакусе именует не иначе, как *kin no unko*, золотая кучка. Башня Скайтри («Небесное дерево») и несколько неоновых баннеров караоке-баров придают всему ландшафту оттенок цвета «электрик». Слишком темная река Сумида, текущая в кромешной черноте на восток, совсем не видна.

Я сидела в баре в полном одиночестве и читала *Сутру лотоса*.

Трудно услышать эту Дхарму²⁷... Также трудно встретить человека, который может слушать эту Дхарму. Если сравнить, то это как с цветком удумбара, который всем нравится и всех радует, но который распускается всего раз за долгое-долгое время.

Я вспоминала, как выглядит цветок удумбара, как вдруг кто-то тронул меня за локоть; его пальцы были легки. Он был молод, с замечательной челкой и в дорогом костюме.

– Простите! – обратился он. – Наш... коллега хотел бы попрактиковаться с вами в английском. Вы не присоединитесь к нам?

Он запнулся на слове *коллега*, указав при этом на три пустых стула между мной и древним, почти лысым человеком в двубортном костюме в тонкую полоску. У того были очки с очень толстыми линзами; левый глаз был закрыт настолько плотно, что веко казалось пришитым.

– Мне и тут отлично сидится, – ответила я, вновь уткнувшись в *Сутру лотоса*.

– Вы говорите по-японски! – воскликнул молодой человек с выражением преувеличенного удивления. – *Замечательно!* Можно ли нам в таком случае присоединиться к вам?

Я пожала плечами. Молодой человек сделал жест в направлении бармена, который толкнул дедов стакан с вином вдоль стойки. Официантка подала мне порционную кастрюльку: мясо с картошкой.

– Вы не будете есть? – спросила я.

– Никогда не притрагиваюсь к западной пище.

– Тогда, пожалуйста, простите, что я начинаю первой, – произнесла я, прибегая к одной из тех японских разговорных формул, которые служат для заполнения пустот, когда не знаешь, что сказать.

Старик вручил мне свою визитную карточку с пышными титулами: председатель и генеральный директор.

Два молодых сотрудника вышли из бара, прыскавая со смеху будто маленькие мальчики, когда их старший товарищ намеревается употребить нечто несъедобное: живую улитку, лягушку, медузу.

– Откуда вы?

– Я живу в Англии, но...

– Плос-сядь Пикадилли! Я люблю Англию! – Он сделал глубокий вдох и с энтузиазмом исполнил «О Дэнни Бой». Остальные посетители бара усердно его игнорировали. «В густой тени или в палящем зное, о, как тебя мне будет не хватать! О, Дэнни Бой! Я так тебя люблю-ю-ю!» Потом он спел куплет из «Люби меня нежно» и, наконец, балладу на мандаринском диалекте. Дослушав балладу, я зааплодировала: его китайский, хотела я того или нет, произвел на меня впечатление.

– У меня вторая жена в Тайбэй и *очень, очень большой...* – Он помедлил, улыбаясь и приподнимая брови.

– ...дом вон там. Тринадцать этажей! Вы можете его увидеть из этого окна! – Он указал на зеркальное смотровое окно.

– Вы живете около храма?

– Да. В Адзумабаси, всю свою жизнь.

– Вы не эвакуировались во время войны? – Слово *эвакуироваться* я не знала и потому сделала руками движение, как будто отгоняю птицу. От столешницы бара к потолку. – Ради безопасности?

– Нет. Я все время был в Токио. Бомбы падали всюду. – Настал его черед изображать жестами то, на что у него не хватало слов: зажигательная бомба со свистом рассекает воздух, попадание, взрыв. – И все-таки я люблю Америку. То, что было, – это война. Если война начинается, никто ничего уже не может поделать... Американцы не были плохими людьми. – Он жестом показал на обручальное кольцо, блестевшее у меня на руке. – Вы никогда не думали завести второго мужчину?

– Никогда, – сказала я, потягивая вино из своего бокала. – Мне нравится простота.

Он выпрямился, как будто я его оскорбила, коротко что-то буркнул бармену, и тот запустил его стакан к прежнему месту – на три стула западнее. Долгим взглядом мой собеседник смотрел на свою визитку, словно хотел и ее получить обратно.

Я продолжала есть. Старикан достал немислимых размеров увеличительное стекло и стал внимательно разглядывать свой

айфон. «*Би-джи-нес*», – произнес он ледяным тоном, отталкивая стакан с остатками вина. Затем оплатил счет, взял портфель и шаткой походкой направился мимо меня к выходу.

– О! Всё напрасно! напрасно! Я слишком стар для вас, – произнес он так громко, что все, кто был в закусочной, оглянулись на нас; как будто *он* отказывал *мне*.

Он смотрел на восток, в сторону тринадцатизэтажного дома.

Когда старик ушел, молодой бармен хмуро посмотрел на меня.

– Это наш постоянный посетитель, – сказал он.

Вечером следующего дня, когда я пришла в этот бар поужинать, хозяйка позаботилась о том, чтобы усадить меня отдельно, почти спрятав за кофемашину.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.



АННА
ШЕРМАН

КОЛОКОЛА СТАРОГО ГОРОДА

**ГИПНОТИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ПО УЛОЧКАМ
СТАРОГО ТОКИО — ЯПОНИЯ, КАКОЙ ЕЕ НЕ ЗНАЮТ**

